



БРАТ ВО ХРИСТЕ

Николай Александрович Толстиков родился в 1958 году. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Принял духовный сан, священнослужитель храма святителя Николая во Владычной слободе города Вологды. Публиковался в российских и зарубежных изданиях, журналах «Крестник», «Новый Берег», «Чайка», «Русский дом», «Наша улица», «Север», «Лад», «Южная звезда», «Вологодская литература» и др. Автор нескольких книг прозы. Лауреат «Литературной Вены-2008», международного конкурса, посвящённого 200-летию Н.В. Гоголя, победитель конкурса имени Ю. Дружникова, на лучший рассказ журнала «Чайка» (США). Живёт в Вологде.

Посвящается Н.Н.

1.

Владыка Серафим готовился к уходу на покой. Таков устав — архиерею после семидесяти пяти лет следовало подавать о том прошение. Оно, полежав где-то под сукном на столе, возымело ход, и теперь в Лавре готовили старому архиепископу преемника. Владыка, теребя дрожащими от волнения и немощи пальцами лист бумаги с патриаршим указом, увидел вдруг себя как бы со стороны. В просторном, залитом солнцем кабинете за письменным столом сидел в поношенном, ставшем просторным для высохшей плоти подряснике старец с лысой, покрытой кое-где коричневыми пятнами головой с седым пушком реденьких волос над ушами.

— Владыка, вы просили напомнить... — из приёмной заглянул секретарь. — Кандидат на духовный сан к вам для собеседования.

— Пригласите.

Ставленник был неказист, мал ростом, робко топтался в больших резиновых сапогах возле двери, и с них натекла на пол грязная лужица. Наконец, он опомнился и суетливо подбежал под благословение к поднявшемуся из-за стола архиерею.

Узкое, в глубоких прорезях морщин лицо со скорбными складками от краёв тонкогубого рта, небрежно подстриженная пегая бородёнка, настороженный взгляд выпуклых водянистых глаз.

«Годиков тебе уже немало, батюшка, и прожил ты их не просто, нелегко, — подумал владыка. — И не умствовал много, сразу видно по рукам-то».

Кисти рук, увесистые, мосластые, с грубой кожей в заусеницах, с въевшейся грязью, ставленник пытался втянуть в короткие рукава невзрачного пиджачка.

«Подбирает же кандидатов на сан отец Павел! — усмехнулся про себя владыка. — Хотя... Глаз у него, как рентген. Доверимся. Да и этот уже мой последний, кого рукополагать».

— Так и будем молчать? Представьтесь...

— Караулов... Руф, — ответил угрюмо гулким басом кандидат.

«Диакон добрый, однако, выйдет!» — решил было с удовлетворением владыка, но насторожился — фамилия показалась знакомой.

Он попросил кандидата рассказать о себе, только в скупом роняемые им слова вслушивался мало. Сквозь толстые линзы очков пристально всматривался в лицо ставленнику и пытался вспомнить, где видел похожее...

2.

Руф Караулов дожил уж до седых волос, лета упорно поджигали — под пятьдесят, а до сих пор он не знал, любила его мать или нет.

Запомнилось: в крохотной своей комнатке она ставила маленького Руфа перед стеной, сплошь увешанной иконами, и сильно, до боли, нажимала цепкими пальцами на плечо, вынуждая сына плюхнуться на коленки. Руф послушно шептал вслед за матерью непонятные слова молитв, путал, перевирал их, под косым материнским взглядом крестился и старательно прикладывался лбом к полу. Знал, что теперь будет отпущен гулять на улицу.

Мать пекла просфоры для единственного в городе храма. Её, всегда ходившую в тёмной долгополой одежде и наглухо, по самые брови, укутанную в такой же тёмный платок, со строгим взглядом немигающих глаз и со скорбно поджатыми в ниточку губами, соседи по улочке именовали «попадъёй» или «монашенкой». А Руфа, стало быть, все кому не лень обзывали «попёнком».

Как он ненавидел своё прозвище и желал избавиться от него! Чтобы каждый слабак или девчонка не дразнились, Руф пытался липнуть к самым хулиганистым пацанам в школе. Те подбивали простодушного, бесхитростного Руфа вытворять разные пакости учителям, дурачиться на уроках, но выстроить из себя «крутого» у него всё равно не получалось. Проклятая кличка оставалась, как приклеенная, а дома ещё мать за шалости славно лупцевала сынка вицей.

Руф, переваливаясь с двойки на тройку, героически дотянул восьмилетку, а дальше путь извещен — шапку в охалку и бегом в профессионально-техническое училище.

Азы профессии столяра и плотника он осваивал охотно; на другом краю города, среди незнакомой ребятни, и прозвище, наконец, от него отлипло. Разве ещё кто из соседей по набережной улочке поминал, да и то изредка: был бы Руф гладкий и пузатый, с бородищей до пупа, а то он ростом не удался, в кости мелковат, сух — в чём только душа держится; глаза на узком длинном личике — навькат, водянистые, мамкины.

В пору отрочества у него прорезался бас; мужики-наставники на практике в стройкомбинате хохотали — мол, всех девок и баб, паренёк, этаким своим гласом распугаешь! И как в воду глядели: семейством впоследствии

Руф так и не обзавёлся, остался холостым. Чтобы отвлечься, Руф развёл в сарае возле дома колонию кроликов, заботился о них и, бывало, не в силах дойти до порога дома — ночевал среди этих ушастых и пушистых созданий. Что поделат, если плотницкое и столярное ремесло располагают иногда к выпивке.

Случалось, в ненастье в сарай к Руфу заходил компаньон, а то и приводил ещё кого-нибудь. Через некоторое время вечернюю тишину встряхивал хорошо знакомый соседям бас, выводя слова какой-нибудь разудалой песни. Концерт продолжался до тех пор, пока в дверях сарая не появлялась разъярённая мать Руфа, сжимая в руках суковатую палку. Основной удар принимал на себя Руф, пока гости уносили ноги.

После «добавочной» утренней головомойки он, смятенный, превозмогая сушь во рту, пытался оправдываться перед матерью, припоминая чьи-то чужие слова: «Не мы такие, жизнь такая!»

А жизнь катилась и катилась... Не в гору и не под гору. В последнее время Руф всё чаще заглядывал по утрам в комнату к матери и, стоя на пороге, вслед за нею шептал затверженные с детства слова молитв. Мать в такие дни смягчалась и сына, вкушавшего небогатый обед, не одаривала суровыми взглядами и не ворчала под скорый брякоток его ложки.

И в храм, что от дому неподалёку, возрождаемый из бывшего

педуниверситетского склада, стал заходить. Тем более, настоятель отец Павел, прослышав про Руфовы плотницкие навыки, столярничать пригласил.

Раз, поправляя в комнате матери грозящую вот-вот сорваться со стены полку со старинными книгами, Руф неуклюже уронил на пол тяжеленный том и между раскрытых его страниц заметил надорванный пожелтевший почтовый конверт. Листочек письма он не успел прочесть, разобрал лишь в конце подпись: «Ещё раз простите! К сему муж ваш несчастный иереи Пётр».

Мать выхватила письмо из рук сына, скомкала торопливо и на его недоумённый взгляд ответила нехотя, сурово поджимая губы:

— От отца твоего.

— Так он жив и... поп?

— Не ведаю, жив ли, давно было... Убежал неведомо куда монастырь искать, чтоб грехи свои замаливать.

Руф прежде не раз пытался расспросить у матери о своём отце, но она отмалчивалась. А сын знал: не захочет — слова клещами не вытянешь. И отставал.

Он рассказал обо всём на исповеди отцу Павлу. А тот, похоже, даже обрадовался:

— Так ты потомственный, Руф?! Буду готовить из тебя диакона. Мне помощник в храме очень нужен.

Когда будущий «ставленник» Руф Караулов неуклюже отклонился и ушёл, владыка Серафим вспомнил всё. Не зря фамилия кандидата заставила его напрячь память. От воспоминания больно кольнуло сердце. Серафим в ту давнюю пору ещё только-только начинал служить священником...

Из алтаря отец Серафим, правя пасхальную заутреню, не видел, отчего в храме вспыхнул пожар. Это уж потом рассказывали, что у кого-то из прихожан, стоящих вплотную к подсвечникам, уставленным множеством зажжённых свечей, загорелся рукав одежды.

Больше самого бедолаги испугался отец Пётр, поблизости за аналоем принимавший исповедь у старушек. С воплем метнулся он в узкий проход в толпе заполнившего храм люда, наострив перед собой клюшку, заковылял, припадая на большую ногу, подбитым селезнем, расталкивая всех, к выходу.

В храм, помимо прихожан, набилось зевак, даже подвыпившая молодёжка сумела просочиться сквозь оцепление из милиционеров и комсомольцев-активистов. Вслед поповскому истошному воплю всё стиснутое толстыми стенами скопление людей встревоженно колыхнулось и схлынуло

к притвору, к крутой, ведущей на улицу лестнице. Кто-то из задних не устоял на ногах, соскользнул со ступеней, и жалобный заячий вскрик сгинул в загроможденном топоте множества ног, перепуганном рокоте голосов. И опять кто-то задавленно вскрикнул в толпе, пытающейся в тесноте притвора вырваться на улицу, и ещё загас чей-то предсмертный стон.

Владыка Гавриил показался в раскрытых «царских воротах», своим слабым голосом попытался докричаться до охваченного ужасом людского скопища, взумить, успокоить паству, да куда там...

Он повернулся и тяжело упал перед Престолом на колени, согнулся в земном поклоне. Прежде гордый, даже надменный старец древней княжеской крови шептал горячо и торопливо: «Господи, помоги! Остуди неразумных!»

Диаконской дверью в алтарь по-хозяйски вошёл местный уполномоченный по делам религиозий Аким Воронов. Во всеобщей суматохе и панике он, похоже, не растерялся только один. Сгрёб в охапку бедолагу-старушонку, нечаянную виновницу пожара, содрал с неё тлеющую лопотину, бросил на пол, затоптал.

— Думаешь, боженька поможет? А, ваше сиятельство? Чего ж молчите?

Воронов с издёвкой называл архиерея вместо «преосвященства» на светский манер «сиятельством», норовя лишний раз

ткнуть, что владыка был далеко не пролетарского происхождения, а из аристократической, недобитой революционными бурями семьи, сбежал с братом за границу. Тот и до сих пор там. Что братья «за бугром» поделывали — большой вопрос, но, когда товарищ Сталин ослабил нажим на «длинногривых», скромный монашек вернулся на родину и вскоре епископом стал.

Да тут Никита Сергеевич Хрущёв твёрдо пообещал показать последнего попа по телевизору. И выперли епископа Гавриила из Ленинграда в далёкий северный город. Забыл господин, где находится, — не во Франции, а в Советской стране, стал разные вредные проповеди о божественном за каждой службой произносить. В храм потянулись молодые оболтусы — и в одиночку, и ватагами. Интеллигенция всякая гнилая, крадучись, зачастила туда, развесила уши.

Но здесь на то и есть он, Аким Воронов, мужик далеко не промах. В войну служил в «особом» отделе, с поднадзорными много церемониться не привык, не особо тороват был и к попам. Грузный, неуклюжий Аким расхаживал по алтарю по-хозяйски, людская суматоха в храме вроде бы как его и не касалась; он подошёл к отцу Серафиму и, обдав того тяжким табачным духом, приблизил почти вплотную к нему своё лицо, скривлённое в глумливой усмешке:

— Тебе, батько, ответ дер-
жать, как настоятелю... Какую-то
божью овцу в толкотне задави-
ли. Слышал я, как ты тут перед
службой с начальником оцепле-
ния толковал насчёт того, чтобы
молодёжку в церковь пропусти-
ли. Видишь, что приключилось?!
Теперь хоть на коленках передо
мною ползай, но регистрации я
тебя лишу. Говорил я тебе: ты
ж кандидат технических наук,
светлая голова, и какого только
праха в попы полез?! Не пацан
зелёный, а почти профессор!

Жертвы были. В давке на
лестнице затоптали насмерть ста-
рушонок — божьих одуванчиков;
власти стали искать «крайних»,
и ясно, что нашли. Владыку Гав-
риила насильно отправили на
покой, а отец Серафим, офици-
ально почисленный за штат, фак-
тически был вышвырнут власт-
ным пинком без всяких средств
к существованию; говорили, что
легко ещё отделался...

Отец Пётр подстерг его позд-
ним вечером возле арки ворот в
церковной ограде, вышел отку-
да-то из темноты в круг света под
тусклым фонарём и заковылял
навстречу, волоча за собой угло-
ватую дрыгающуюся тень. Хотел
было по-братски расцеловаться,
но замер с раскинутыми руками
на полпути:

— Ты прости меня, отче! Все
твои беды из-за меня... Но не по
своей я воле!

Отец Серафим на миг предста-
вил довольную ухмыляющуюся

физиономию Акима Воронова и,
не останавливаясь, прошёл мимо
отца Петра, буркнув под нос:

— Бог простит!

— Испугался я, пойми! Давно
уж испугался! — нет, не кричал,
а бормотал ему вслед, испуганно
озираясь, отец Пётр...

Приехав в этот город на ар-
хиерейскую кафедру много лет
спустя, владыка Серафим поин-
тересовался судьбой отца Петра
Караулова, но никто ничего тол-
ком о нём не знал. Пропал чело-
век.

4.

Ленка сидела у окна, закинув
ногу на ногу, и курила. Сделав
затяжку, она картинно отводила
в сторону руку с зажатой в паль-
цах длинной пахучей сигареткой.
При этом движении полы Лен-
киной лёгонькой, явно нарочно
не застёгнутой кофточки расхо-
дились, бесстыже оголяя упруго
колыхающиеся груди с большими
тёмными кружками сосков. Лен-
ка опять подносила к своим губам
сигарету и, усмехаясь, краешком
глаза следила за смущённым Ру-
фом, жмущимся испуганно в сво-
ём углу.

И откуда, из какого далека
она взялась?!

Руф вроде б уж и не вспоми-
нал о голенастой рыжей девчонке
из соседнего дома. Там жил оди-
ноко старый холостяк, школь-
ный учитель, и каждое лето его
навещала старшая сестра. Вместе

с ней из далёкого неведомого города приезжало и её семейство: дочь, зять-капитан и внучка. Черноволосый капитан, затянутый в парадную форму, щеголевато прогуливался под ручку с толстушкой-женой по городским улочкам, выразительно по-хохлацки «гэкая». Служил папаша не ахти в каких знаменитых и привилегированных войсках, всего-навсего в автобате, но малолеток Руф о том не ведал, взирал заворожённо на редкие медальки к разным юбилеям на офицерской груди.

Впереди четы выпрыгивала бойко рыженькая конопатая девчушка. Вот уж сорвиголова! Стоило ей приехать, и вся ребятня с улочки сбегалась к своей заводиле. Толокся тут и Руф на правах ближнего соседа: в игры играть его местная пацанва не больно привечала. Начнут смеяться над большущей, словно капустный кочан, его башкой, болтающейся на хилом тельце от плеча к плечу, над штопаной-перештопанной затрапезной одежкой — сам убежишь от позора из компании. При Ленке — нет, хоть бы словечко ехидное кто сказал, Ленке в рот глядят самые что ни на есть Руфовы обидчики. Почему и как насмешливая и дерзкая девчонка прониклась жалостью к несуразному соседскому мальчишке — Бог весть; она ведь не только его от задир защищала. Видел бы кто из них, как Ленка втихаря выносила из

дома для своего друга кусок булки с маслом или горсть конфет и угощала его в укромном месте. Руф поначалу, краснея и глотая голодные слюнки, мужественно отнекивался от подарков, но Ленка настаивала, как всегда:

— Не ерепенься!.. Бери! Никто знать не будет...

Папа-офицер и мамуля поглядывали за тем, как неотступно таскается лопухий заморыш за их дочкой, посмеивались снисходительно:

— Кавалер...

Эх, беда, беда, когда и вправду пора этому подошла! На танцплощадке в городском саду пацаны выюнами вились возле Ленки, по-городскому нарядной, своих местных подружек, начинавших в Ленкином присутствии стесняться, позабыли. Руфа, понятно, отпихнули в сторонку, да и на танцуйках-то он, несуразный, когда пытался кривляться и дёргаться, только хохот всеобщий вызывал. Но Руф на этот раз толчков и тычков не забоялся, от Ленки не отступался ни в какую, ни на шаг. Его вытащили без церемоний за шиворот крепкие высокие пацаны. Рассчитывали, видно, снабдить его пинком — и пускай несётся с рёвом восвояси. В другом случае Руф, может быть, так бы и поступил, но тут-то кровное, почти родное, единственное хорошее в его жизни отбирали! И он со злобным рыком — бас знаменитый уже

прорезался — расстегнул на себе солдатский ремень и начищенной бляхой одного из обидчиков по заднице припечатал. Тот с воем — прочь, и все остальные от Руфа отстали. Малахольный, чего с него взять! Шпана!

Жаль, что вот Ленка, возле которой он теперь вполне заслуженно вертелся и дыхнуть на неё боялся, вскоре уехала. На прощание прижала к себе засмущавшегося Руфа, сочно и вполне умело поцеловала его прямо в губы. И больше не бывала в городке...

Она присылала иногда письма, да из Руфа выходил плохой сочинитель ответов, с грамотёшкой парень был не особо в ладах. Потом вся переписка заглохла. Однажды от Ленки всё-таки опять пришло письмо. Руф как раз дембельнулся из доблестных войск стройбата, где все два года службы в северных лесах исправно обрубал сучки на поверженных в делянках деревьях. Ленка писала, что вышла замуж за одноклассника, лейтенанта, которого давно и преданно любила.

Руф напился с горя и выл, валяясь на крыльце, чем перепугал свою суровую мамашу. Может быть, впервые дрогнувшим голосом уговаривала она сыночка успокоиться...

— Ты надолго, Лена?

— Поживу пока, дом после дядюшки продам.

Владыка иногда выбирался на фортепианный концерт. В старинном зале консерватории в лужах с затейливой лепниной было немало укромных уголков, и знакомец-директор устраивал ему местечко, скрытое от любопытных, а порою и насмешливо-иронических взоров. Время ещё было такое, что церковь в стране вроде бы как и существовала, но везде старательно делался вид, что её как бы не было и вовсе.

Ждали выступления заезжей знаменитости, по этому поводу вывесили яркую афишу, где в уголке всё-таки скромным шрифтом притулили парочку фамилий преподавателей консерватории.

Знаменитость, естественно, выступила на бис: румяный улыбчивый толстяк в чёрном фраке долго и охотно раскланивался публике. Игру преподавателей и студентов слушали не так внимательно; вот уже за рояль сел и последний выступающий — высокий лысоватый человек в очках и с короткой бородкой-шотландкой. Ширпотребовский костюм сидел на нём мешком, вызвав у кое-кого из публики снисходительные улыбочки. На первых рядах в партере и вовсе сожалеюще заушмылялись, когда музыкант беспомощно, подслеповато уткнулся в листы партитуры. Но вот он прикоснулся длинными пальцами к клавишам, и... весь зал потом,

стоя, аплодировал, требовал ещё и ещё! Даже заезжая знаменитость вышла под занавес выступления и со слегка сконфуженным видом пожала неизвестному музыканту руку...

Память на лица у владыки была преотменная, но всё-таки за вечерним богослужением в кафедральном соборе он с немалым трудом узнал в неприкаянно жмущейся в дальнем углу долговязой фигуре того музыканта-виртуоза. Без сомнения, у человека что-то случилось, и владыка послал иподиакона пригласить его после службы к себе.

— У меня два горя воедино слились... — первые слова дались ему нелегко, с болью, но под внимательным сочувственно-добрым взглядом владыки он разговорился. Склонив набок голову с ранними залысинами, музыкант беспокойно перебирал в длинных тонких пальцах снятые очки; худощавое лицо его с набрякшими синими мешками под беспомощно близорукими глазами выглядело измученным. — В один месяц. Сначала отец... наложил на себя руки. Повесился. Всю войну прошёл, политруком роты был. И потом на партийной работе долго. Атеист до мозга костей. Религия — пережиток прошлого, «опиум для народа». И меня так воспитывал: если уж довелось зайти в храм, то только как бездушному экскурсанту. И я не думал

тогда, что бывает это и по-другому... Союз развалился, и отец мой сник, потерялся. Он же не как те «перевёртыши», сегодня — коммунисты, завтра — капиталисты, лишь бы у кормушки быть, он идейный. Жаль, для Бога у него места в душе не нашлось, ни раньше, ни позже. Может быть, так бы он и не поступил...

А мой сын... Играли возле железной дороги школьники, под вагоном стоящего на путях поезда решили на другую сторону перешмыгнуть, а тут состав и тронулся. Все успели проскочить, только сына одного под него затянуло. Он ещё, в реанимации находясь, жил, мучился. Врачи разводили руками: спасения нет. Я в угол забился в каком-то беспамьятстве: куда бежать, что делать? И так до самого конца... А вот попросить помощи у Бога... — собеседник поднял на владыку заблестевшие глаза. — Даже в голову тогда не пришло. Правда, потом я взмолился, но поздно, поздно... Теперь всякий интерес к любимым делам, да вообще к жизни потерян.

— К Богу прийти никогда не поздно, — владыка, выслушав рассказ, помолчал и предложил: — Вы ведь не только музицируете, но и поёте? Тенор? Не могли бы вы петь в церковном хоре на клиросе?..

«И вновь обрёл человек себя. С Богом. И стал со временем нынешним отцом Павлом, настоятелем храма в городе. Теперь уж и

он сам людей приводит Богу служить. Как вот того Руфа, сына Петра Караулова».

Владыку Серафима немного утомили воспоминания, он задремал в своём удобном глубоком кресле. В старческом чутком сне привиделись мать и отец...

Отец был из обедневших дворян, карьеру делал споро, приспособившись ко всему сам и особо ни на кого не надеясь. И пока не грянуло в Семнадцатом году, он успел дослужиться до чина статского советника. Мама родилась в семье известного петербургского фабриканта, и злые языки поговаривали, что денежки тестя помогали хоть и родовитому, но голоштанному зятю прыгать по служебной лесенке. Пусть и идеек либеральных он не чуждался, и по воскресным дням его в церковь калачом не заманить.

Жена же по всему была у него истинно верующая. Красавица с печальными чёрными глазами, она старалась не пропустить ни воскресной или праздничной обедни, стояла возле алтаря, клала поклоны, неспешно крестясь и шепча молитвы. Её неизменно обступала тройка притихших сыновей. Впрочем, старшие мальчики вскоре перестали приходиться на службы, оставался только младшенький Сима. Батюшка ввёл его в алтарь, и Сима быстро наловчился помогать пономарю раздувать кадило, выносить на полиелеях свечи...

На него одного из прислуживающих в алтаре полдесятка мальчишек — поповичей и дьячат — во время своей последней службы возложил стихарь митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин.

— Не зря он выбрал тебя, не зря... — глядя по голове сына, шептала мать, укутанная в чёрный траурный платок. У Симы ещё радость и ребячья гордость толком не улеглась, когда в семье узнали, что после скоропалительного процесса большевики умучили святителя. Сима, облачаясь перед службой в блестящий, расшитый крестиками стихарь, ещё не осознавал происшедшего своим детским умишком: шёл-то пареньку шестой годик.

В городе закрывали храмы, взрывали их или превращали в склады, бани, клубы, но мать по-прежнему, проезжая в трамвае, крестилась на осквернённые руины, и насмешки окружающих не пугали её.

Зато отец... Он пытался бежать и дальше в ногу со временем, даже стал похожим на Ленина. В кепке, при галстукке в крупный горошек, борода клином, витийствовал он, бывало, на митингах и собраниях, благо из писарей пролетарии продвинули его в бухгалтеры. Но «попутчиком» своим, несмотря на все его потуги, не посчитали — отец загремел в тюрьму, как заговорщик, и отпустили его оттуда больным и

сломленным домой умирать. Не-задолго до кончины он попросил привести священника. Пожилой батюшка, принимая исповедь, не скоро вышел из его комнаты.

— Да, после такой силы покаяния он большой христианин, чем мы с вами! — вздохнул, прощаясь, бывалый протоиерей...

У Серафима жизнь сложилась так, что сан священника он решил принять, когда ему было уже много за сорок. Не испугала и чёрная для церкви хрущёвская пора. Инженер, кандидат технических наук, всё вроде бы в жизни есть. Не все поняли и приняли этот его шаг, многие оттолкнулись. А он знал: пришло время исполниться благословиению святителя-мученика...

В ответе ли сын за поступки отца? Опять на мгновение мелькнули перед глазами Карауловы: несчастный отец Пётр, Руф. Надо рукополагать в сан диакона сына, не помяная старые обиды. Бог судья непутёвому отцу. «Жатвы много, делателей мало...»

6.

Руф Караулов считал себя всё-таки приличным работягой, в праздничные дни выбривался чисто — бородку отпустил, когда в церковь ходить стал, оболакивался в незатасканную рубаху и штаны с отутюженными стрелками. В будни-то ладно, можно и кое-как бродить, в рабочем: мастеровой мужик — невелик кулик.

Коля Шибалёнок и в будни, и в праздники вышагивал в одних и тех же замызганных, давным-давно потерявших первоначальный цвет и форму обноскох с чужого плеча. Маленькие поросячьи глазки на опухшей от постоянной опохмелки роже с кустами щетины на щеках заплыли, превратились в хитрющие щёлочки; под грузным коренастым телом — кривые ноги: не сразу поймёшь, выпил Шибалёнок накануне или нет.

Коля трудился экспедитором-грузчиком в общепите, помимо кое-какой силёнки, обладал пронзительно визгливым голосом. Ошалев от его раздражённого тембра, а ещё пуще — от выражений, разбегались, бывало, даже грузчики, а бабы-продащицы боязливо-заискивающе обращались к Шибалёнку по имени-отчеству.

Руф — он и до седых волос Руфик, Руфка, а тут шаромыжника — и так уважительно! Обидно!

С начальством Коля был ласков и обходителен, подобо-страстен до неприличия, до распускания слюней, и ещё одно обстоятельство присутствовало: Шибалёнок мог запросто «настучать» на ближнего. За что Колю, в изрядном подпитии, не раз подкарауливали и били мужики.

Руф и Шибалёнок жили на одной улице, правда, в разных концах, были ровесники, учились в одной школе. У обоих были неласковые суровые матери — Шибалиха голосиной обладала

ещё покруче сынка, не дай Бог, какой ротозей забредал на территорию возле общепитовской конторы, где бабка орудовала метлой, и невзначай ронял окурок. Шибалиха не только орала благим матом, но и норовила отхлестать нарушителя своим орудием труда. Часто попадало на орехи и подвыпившему сынку, мать на расправу не скупилась.

Коля и Руф, получалось, всё время как-то нигде не пересекались. Ни в мальчишеских потасовках, ни потом — за столиком в пивнухе или за одним стаканом на брёвнышке под забором, ни, тем более, в библиотеке, где Руф брал почитать исторические романы и книги «просто о жизни», а Коля, наверное, кроме букваря, ни одной книжки больше не осилил.

Руф был удивлён, да куда там! — потрясён, когда увидел знаменитого матерщинника стоявшим на воскресной службе в церкви. Шибалёнок, скромно потупив глазки, топтался возле солеи, на самом виду, напротив «царских врат», оттеснив испуганно поглядывающих на него старушонку. Заметив Руфа, он дружелюбно подмигнул ему, как старому приятелю.

С какого уж бока сумел Шибалёнок подкатиться к настоятелю отцу Павлу — Бог весть... Для батюшки, говорят, всякий брат во Христе — свой.

Коля вваливался всегда шумно, заполняя настоятельскую

каморку-келью смрадной вонью перегара, мочи, табачища. Растягивая в умильно-заискивающей улыбке помятую, с фингалом под глазом, рожу, бросался к отцу Павлу, хватал его руку и принимался смачно её лобызать. Потом облапывал за плечи худощавую фигуру священника:

— Лучший друг ты мой, отец святой!

Руф, починивающий оконную раму, тоже удостоился дружеского кивка: привет, столяр!

— Тётку надо причастить, она уж там на последнем издохе, давно лежит, не встаёт, — затараторил Шибалёнок. — В пригороде это, в Луках! Я там тебя, отец родной, в любое время с автобуса встречу и в нужное место проведу.

— Да, тут дело такое, отлагательства не терпит, — согласился отец Павел. — Давайте договоримся — где и когда?

В сопровождающие батюшка взял Руфа, всё-таки местный житель. С городом приезжий отец Павел был ещё плохо знаком, а тут пригород, посёлок. Руф там тоже никогда не бывал, но промолчал о том.

В тряском, дребезжащем всеми внутренностями автобусе — «сарая», видимо, только что выпущенном в рейс, пока добирались до места, отец Павел продрог в своём тонком осеннем пальтишке. На конечной остановке путники поспешно выскочили из промороженного салона — на

улице показалось много теплее. Возле покосившегося, с испаряющимися всякими похабными надписями стенами, павильончика их никто не ждал.

— Может, задерживается где Коля? Сейчас прибежит? — с надеждой спросил отец Павел, озираясь по сторонам.

— Чего его ждать-то? Пойдём сами! — спустя какое-то время предложил Руф, глядя на съеденного вконец на пронизывающем до костей мартовском ветру батюшку. Аж стёкла очков на носу у бедного изморозью покрылись.

И тут выяснилось, что ни названия улицы, ни номера дома, где ожидала болящая старушка, ни тот и ни другой не знают. Руф махнул безнадёжно рукой на длинную череду одинаковых, как близнецы, бараков-временок пристанционного посёлка:

— Поехали, отец Павел, обратно! Где тут искать?!

— И всё-таки давай попробуем... — стуча зубами, не согласился священник.

В ответ на расспросы, где обретается недвижимая богомольная бабулька, встречные прохожие, поглядывая с удивлением на двух бородачей, недоумённо пожимали плечами.

Поплутав вдоволь по всяким проулкам, путники окончательно приуныли, и тут Руф хлопнул себя по лбу — вот уж верно: «Хорошая мысль приходит опосля»!

Первая же небритая, красноносая, слегка пошатывающаяся личность изрекла:

— Шибалёнок? Да он вон в пивнухе возле остановки гужбани!

И точно. Едва заглянул Руф в питейное заведение — и за ближним к выходу столиком обнаружился притулившийся там Шибалёнок. Он лениво, вроде бы как нехотя, дотягивал из кружки пиво, дремал — не дремал, раскачиваясь на кривых ногах и с блаженством жмуря щёлки глаз. Но стоило его соседу, тщедушному мужичку, от переизбытка питья заикать и устремиться на выход, как Коля, не думая долго, подвинул к себе его недопитую кружку и стремительно выпил из неё пиво.

Руфу так и захотелось подойти и треснуть хорошенько по этой мятой довольной хारे! Шибалёнок опередил: сначала по его лицу промелькнуло удивление, потом в более активно заработавшем мозгу возникло воспоминание — и вот Коля, скорчив виновато покающую мину, заторопился навстречу Руфу:

— Ой, с батюшкой меня простите! Давно вас жду! Забежал вот на минутку погреться...

Увидев на улице продрогшего отца Павла, Шибалёнок и умильную слезу бы, наверно, пустил, кабы священник сурово не поторопил его:

— Веди!

— Это рядом! Вон там!

Коля вбежал на крыльечко неказистого домика, не особо церемонясь, забарабанил кулаком в дверь. Вскоре дверное полотно заходило ходуное уже под его пинками, но по-прежнему никто не спешил открывать.

— Уф! — Шибалёнок грязной ладонью вытер испарину со лба, оставляя на нём чёрные полосы. — Васька, гад, сын ейный, не иначе на работу убежал. Нас не дождался! А она, хозяйка-то, больше года с кровати не встаёт, — он подошёл к окну с приоткрытой форточкой, постучал в стекло. — Бабуля, слышишь? Мы с батюшкой тут, не виноваты только, что к тебе не попасть...

И потушил свои плутоватые глазки под сердитым и уничтожающим взглядом отца Павла из-под стёклышек очков.

В дверном замке вдруг заскрежетал ключ. Дверь распахнулась; на пороге стояла, цепляясь за дверные косяки, иссохшая — одна тень! — старуха в исподнем. На застывшем, неподвижном, будто маска, испитом жестокой болезнью, землистого цвета лице её жили одни только глаза, и было во взгляде их что-то уже далёкое от мирской суеты, ведомое человеку лишь на последнем пределе. И ещё вера была в них.

Мгновение — и бабулька упала на руки подоспевшему отцу Павлу; Руф с Шибалёнком застыли, распялив рты. Старушку унесли в дом; отец Павел едва успел накинуть ей на голову край

епитрахили, принимая от неё «глухую» исповедь, и причастить её Святых Христовых Тайн, как старушка, просветлев ликом, отошла в мир иной.

— Видели? — спросил священник у своих растерянных и потрясённых спутников. — Вот как верить надо!..

7.

Ленка привычно, гибкой кошкой запрыгнула за руль и со знакомыми требовательными нотками в голосе, как в далёком детстве, заторопила Руфа:

— Садись! Ну!

Тот с робостью потоптался возле её, серебристого цвета, иномарки, наконец, осторожно забрался в кабину и что есть силы захлопнул дверку.

— Не в трактор же залез! — недовольно сморщила носик Ленка. — Закрывай аккуратно, как холодильник!

— А у меня дома только погреб! — простодушно вылупилась на Ленку Руф.

Она захохотала, стряхнула с темечка на нос очки с задымлёнными стёклами и поддала газу по ровной ленте асфальта. За городом по буеракам просёлочной дороги иномарка поползла и запереваливалась, как большая черепаха. Ленка берегла автомобиль, дальше бы и не поехала, кабы не хотелось туда, куда собрались с Руфом сразу, не сговариваясь, — на Лисьи горки.

Низенькие, поросшие редким сосняком горушки далеко за городской окраиной Руф с Ленкой, другие ребятишки в летнюю пору навещали часто, мчались сюда на велосипедах за земляникой, плескались в тихой мелководной речушке рядом. Во взрослой жизни Руф избегал бывать здесь: не хотелось ему тревожить давнее, глубоко спрятанное в душе.

Сейчас он, выбравшись из автомобиля, с каким-то даже изумлением оглядывал горушки или, вернее, то, что от них осталось. Там и сям безжалостно коверкали их безобразные ямы карьеров, валялись вывернутые с корнями засохшие сосенки.

— Колодчик-то цел, не знаешь? — легонько подтолкнула Руфа Ленка. Она, показалось ему, к бедламу вокруг отнеслась спокойно.

— Наверно... — промямлил всё ещё не пришедший толком в себя Руф и указал рукой на промятую в высокой траве в сторону от большака колею. Она, петляя, тянулась к кирпичному остову часовни на вершине холма.

— Я дорогу проверю! — Руф немного взбодрился и неуклюже, спотыкаясь, побежал по колее впереди автомобиля. Всё такой же — на сухом коротконогом теле на длинной, по-мальчишески тонкой шее качается туда-сюда большой шарaban головы.

Ленка, наспех промокнув повлажневшие глаза, тихо тронула машину следом...

Колодчик уцелел, кто-то даже подновил его сруб. Возле ворота, обмотанного цепью, поблёскивало ведро. Холодёнка, поднятая из гулкой глубины, обжигала до ломоты в зубах. Ленка засмеялась, зачерпнула из ведра полные пригоршни и плеснула на испуганно отпрянувшего Руфа. Потом гибким кошачьим движением дотянулась до него и чмокнула в бородатую щёку, совсем уж ошеломив бедного.

Выпала вечерняя роса, боле-менее сухого пригорка, где бы можно было примоститься посидеть, не нашлось, и Ленка с Руфом забрались обратно в автомобиль. Ленка приглушила музыку, попеняла усмешливо Руфу:

— Всё молчишь да молчишь! Да меня боишься... Рассказал бы, как живёшь!

— Плотничаю вот при храме...

— Из тебя, как и раньше, слово хоть клещами тащи! — вздохнула Ленка. — Давай уж тогда я о себе... Ты помнишь, я всё дизайнером мечтала стать? Высокой моды. Ну и стала... инженером-проектировщиком на фабрике обуви. Фасоны разные разрабатывать. Замуж вышла, помнишь, писала тебе? Считала, по любви. У меня будущий муж военное училище заканчивал, в доме жили — квартиры на одной площадке, отцы-сослуживцы, «военная кость». Другу моему диплом и распределение получать, а у нас уже дитё наметилось. Возлюбленный мой было в сторонку

вильнул, вроде б как ни при чём он, но батька у меня — хват ещё тот, недаром хохол! Прямым к начальнику училища! И пришлось свадебку справлять...

Ленка помолчала, вздохнула.

— Потом гарнизоны, загранка. Из Германии в перестройку нас выкинули. Мой-то муженёк, хоть и в майорских погонах, да с одной фуражкой в нашем городе оказался. Никому не нужен, ничего не умеет, только солдат гонять. Приткнулся куда-то охранником, и то уволили за что-то, полгода на работу без зарплаты ходил из принципа вроде как, судился. Да и спился совсем. Слабак... А я на обувную фабрику инженером по старой специальности устроилась. Надо ж сына поднимать, на кого надежда? Освоилась, а там подвернулась возможность выкупить производство за копейки. Теперь вот, кроме фабрики, ещё и мастерская не одна у меня по городу. Всё моё, пошло дело... А муженёк так и под забором в одночасье помер. Не любила я его. Так, красивенький в молодости был. После него заводились мужички разные, и голытьба-красавчики, и ровня мне, да тоже ни один к сердцу не припал. Всех, как только надоедали, бросала... А поехали со мной! — вдруг, прижавшись к Руфу, горячо зашептала Ленка. — Будем вместе! Ты понимаешь, как везёт тебе, дурачку? Из грязи прямо в князи!

Но Руф опять затравленной испуганной псиной сжался

в кресле, знал бы, как открыть дверцу, наверняка бы выскочил из машины.

Ленка отодвинулась от Руфа, горько усмехнулась уголком рта: эх ты, растяпа!

— Ладно, подумай, реши! Самой мне на шею мужчинке вешаться несолидно. Прости...

8.

Шибалёнку порою, видимо, надоедало трястись от холода под грудой тряпья в своей нетопленной комнатухе в коммуналке или ночевать после возлияний по городским кочегаркам. Он выдумывал причину для заболевания и заползал в палату местной больницы понежиться на чистых простынях и пожрать, пусть и скудно, зато размеренно. Благо старые доктора ещё полуголодной советской поры хорошо помнили Шибалёнка как экспедитора продуктового склада, и благодарность их за прежние Колыны благодеяния не улетучилась с приходом капитализма.

В конце зимы Шибалёнок не стал дожидаться тёплых дней, с загноившимся пальцем залёг в больницу. Тут его и повстречал отец Павел, пришедший соборовать одного старичка. Дедуля где-то упал и сломал бедренную кость, лежал на койке с ногой — навтыяжку, впрямь как лётчик-испытатель после катастрофы.

Коля, радостный, вышмыгнул из соседней палаты, с бодрым

кликом полез лобызаться к ба-
тюшке, засуетился возле него, но-
рвя ему подсобить: зажѣг свечку
и тут же, шумно вздохнув, зага-
сил её.

Закончив таинство соборо-
вания, отец Павел, морщась от
ядрёного духа, исходящего от
старичка, спросил Шибалёнка:

— Ты истинно верующий?

— Да! — Шибалёнок, состро-
ив торжественно-скорбную мину,
торопливо обмахнулся заскоруз-
лой щепотью.

— А слышал, что вера без дел
мертва есть? — с лукавинкой по-
смотрел на него отец Павел.

Коля в ответ промычал что-то
невразумительное, развёл руками.

— Вот тогда за дедушкой по-
ухаживай! Видишь, старичок не
прибран, ни родных, ни близких!
Ну как? Благословить тебя на до-
брое дело?

Шибалёнку ничего не оста-
валось, кроме как согласно кив-
нуть...

Обихаживать деда он взялся с
круто подсоленным матерком, не
особо кого из соседей или врачей
стеснясь. Созывая всех чертей
на голову бедолаги, вытаски-
вал из-под него судна и «утки».
Притащив из столовки поднос со
скудным обедом, пичкал им ста-
ричка, совал тому в беззубый рот
ложку с кашей, а то и мимо её
просыпал.

Как бы то ни было, но дед
споро пошёл на поправку, а
Шибалёнок потом обосновался
у выписавшегося из больницы

старика на топчане возле жар-
кого бока печки. Дедуля пенсию
получал и делился по-отечески с
Колей харчами, выдавая иногда
ему и на винишко. Жаль толь-
ко, что лафа скоро кончилась: у
старичка родственнички объяви-
лись, и Шибалёнка без церемо-
ний выставили за двери.

Тут он и вовсе стал возле отца
Павла виться...

Дела от Шибалёнка мало, он
больше горазд был трескать еду
в три горла в трапезной и молоть
языком. Отец Павел поначалу
избегал его, даже прятался, да
разве скроешься от Коли! Приту-
лится он на приступок возле две-
ри настоящей каморки-каби-
нета и будет, ожидая, часами
сидеть тут, задирая пробежавших
мимо по всяким надобностям слу-
жек. Потом всё-таки батюшка
смирился, особенно после того,
как Шибалёнок опять оказался
бесприютным, приноровился, за-
нимаясь своими делами, слушать
его болтовню и пропускать её
мимо ушей, наподобие трёпа дик-
тора из радиоприёмника на стене.
И ночевать оставлял Колю в сво-
ём кабинете на старом диванчике.
Что поделаешь, раз послал Го-
сподь такое чадо духовное, надо
же его окормлять и наставлять!

В начале лета на острове по-
среди Святого озера в окрестно-
стях города собрались восстанав-
ливать монастырь. До настоящих
насельников-монахов было ещё
далеко; несколько трудников,
бригада заезжих реставраторов

по благословию архиерея пыталась обустроиться среди хаоса из груд битого кирпича, завалов гнилых балок и брёвен, всякого мелкого хлама, оставленного рыбацкими артелями.

Островок напоминал гигантский валун, зашвырнутый Всевышним при сотворении мира точно в середину озера. Вздыхалась одиноко колокольня без креста с одиноким же большим колоколом с подвязанным языком. На озере день тих, да час лих: налетит буря, вздыбит волну на мелководной, доселе вроде бы и безобидной «луже», и держись тогда и Богу молись, зазевавшийся рыболов, коли не успел до беды добраться до берега!

И вот из сумрака, сквозь заполошный вой ветра и водяной рёв до слуха отчаявшихся людей доносится звон колокола. Рядом — остров! Спасены!

В седые времена здешний удельный князь тоже спасся от бури на острове, едва не пойдя ко дну в утлой ладье. Монастырь в честь того основал, и несколько веков тихая обитель обреталась тут, пока в «безбожную пятилетку», угодливо обезьянничая с негодяев, взорвавших в Москве храм Христа Спасителя, здесь тоже местные активисты не раскололи взрывом собор. От громадных кирпичных глыб попытались было отколупывать по кирпичику, найдя вроде б и применение

— для постройки скотных дворов в колхозе на «материке», да куда там — ломы беспомощно отскакивали от старой кладки.

Звонницу тогда не тронули и один колокол на верхотуре оставили: пусть послужит вроде маяка в бурю — Бог-то запрещён, да кто знает...

Теперь, бродя по монастырским руинам, кто-то из молодых реставраторов предложил:

— Вот глыбы-то эти соборные поднять, да и смонтировать бы на специальный клей!

— Придёт время... — откликнулся ему руководитель группы, пожилой мужчина, московский профессор родом из села на берегу озера. — Нам бы сейчас тут зацепиться, осмотреться, обустроиться. Трудников бы! Сколько работы черновой, сколько разгребать всего!

— Вам — первый! — отец Павел легонько подтолкнул к нему Шибалёнка, таскавшегося по острову за батюшкой по пятам со значительно скорченной миной на роже.

— Я? — Коля смешался, глазки его беспокойно забегали, и, когда отец Павел и Руф стали садиться в лодку, чтобы плыть обратно на «материк», он сунулся было следом.

— Благословляю! Оставайся, трудись! — священник размашисто перекрестил Колю из отчаливающей лодки. — Здесь ты нужнее!

Если бы не епархиальный воевода, знавший город, как свои пять, вряд ли бы владыка Серафим разыскал квартиру бывшего уполномоченного по делам религии старого знакомого Акима Воронова. По слухам, бывшей гроза епархии обрелся в угрюмом одиночестве, заброшенный родственниками, парализованный, своей истовой борьбой с «мракобесием» не выслуживший даже персональной пенсии.

Что подвинуло владыку встретиться с давним врагом, он, с трудом поднимаясь по истёртым, избитым ступеням лестницы на пятый этаж, так просто бы сразу и не ответил.

В указанную квартиру служка-иподиакон долго без толку звонил, пока не приоткрылась соседняя дверь и не высунулась старушонка. Подслеповато вглядываясь, владыку она узнала и склонилась под благословение.

— Вы к этому ироду? — спросила. — Плох, кончается... От родни всё пенсию под подушку прятал. Как задремлет, те деньги стащат. И в квартиру худую к нам из хором его выпихали...

Старушка шелестела и шелестела языком, едва можно было разобрать слова. Щёлкнула в замке ключом, отворила дверь.

— Я-то тут обихаживаю его, обдрищется когда. Живой человек всё-таки...

Из нутра квартиры шибануло затхлым запахом старости, властвовало там запустение: толстый слой пыли лежал на всём, косо висела линялая штора на окне, лишь вокруг кровати, громоздящейся посреди комнаты, натоптанная светлая дорожка следов.

В обтянутом жёлтой кожей живом скелете на грязной постели трудно было узнать прежнего румяного крепыша Акима Воронова. Он тоже вряд ли узнал владыку Серафима: большие чёрные угли глаз на усохшем до костей лице оставались неподвижны, безучастны. И всё-таки что-то едва уловимое мелькнуло в них, а лицо перекошило судорогой то ли боли, то ли отчаяния.

— Некрещёный, видать, был, что такие лютости церкви вытворял. Язык-то бы не отнялся, так бы покался, может, отпущения грехов попросил. Страшно, поди, пред Господом-то предстать... — не умолкала старушка-богаделька. — Надо бы его вам окрестить. Или крещён он родителями-то в детстве, да только прочно запомнил о том?

— Да, не ведали, что творили! — владыка размашисто перекрестил лежащего. — Прости им, Господи!

На улице, на чистом воздухе, стало легко, свежо. Владыка вздохнул: завтра последняя его на епархиальной кафедре божественная литургия, последний совершаемый им чин хиротонии.

И последним, посвящённым им в сан священнослужителя, будет Руф Караулов, сын того самого иерея Петра, благодаря которому немало горького когда-то пришлось хлебнуть...

Но ведь покался отец Пётр, дождавшись тогда Серафима в глухой тёмной аллее за храмом. И куда пропал потом, никто до сих пор не ведаёт. То ли сгинул где на чужой стороне, то ли в иноки подался грехи замаливать.

Пусть теперь сын его Богу и людям послужит...

10.

Шибалёнку копать в горах хлама на острове скоро наскучило. Жалился он на жуткие боли то в спине, то в голове, а то и ещё где, норовил с видом страдальца поваляться и погреться подольше на солнышке, но пуще — нёс без умолку всякую околесицу, пересыпая её просоленными словечками и заставляя брезгливо морщиться профессора и криво хмыляться молодых.

Потому оказался вскоре Коля в подручных у кашевара, одинокого бобыля из прибрежного села. Тот тоже на старости лет вернулся в родные края, с разницей только, что профессор почти всю жизнь прожил в Москве, а кашевар «кантовался у хозяина» на суровом Севере. Шибалёнок с боязливым почтением косился на вытатуированные синие перстни на его пальцах, заглянув в

ощерившийся фиксами его рот, беспрекословно мчался рубить дрова или послушно садился чистить картошку. Впрочем, кашевар больше что-то делать Колю и не заставлял. Сварганив обед, он уходил с удочками на дальний утёс, Шибалёнка от себя не отгонял и, сосредоточенно глядя на поплавок, хмыкал в ответ на все того побасенки.

И Коля рад-радёшенек: это тебе не в кирпичных завалах неведомо зачем день-деньской ковыряться. Тут слушает тебя старый блатарь вроде бы и с интересом и ещё довольно подхохотывает. Вот только со взглядом его — исподлобья, чёрные зрачки глаз, точно свёрла, до доньшка душу достают — лучше не встречаться...

Однажды болтал, как обычно, Коля, да и похвалился: дескать, батюшке-то Павлу он друг самый лучший, что бы с ним ни приключись, тут же примчится отец Павел на выручку.

— К тебе, фраеру?! — усомнился кашевар. — Да нужен ты ему сто лет. Они, попы, до бабла жадны, а у тебя, как у латыша, — хрен да душа.

«Сам ты хренов... атеист!» — подумал Шибалёнок, но вслух ничего не сказал.

Что там Коля задумал, что с ним случилось, но на другой день кашевар пришёл к палатке реставраторов встревоженный.

— Слышь, начальник! — обратился он к профессору. — Там

у меня этот придурок, напарник мой, в натуре погибается!

Шибалёнок и вправду лежал в лачуге на куче тряпья и, страдальчески кривя рожу, прижимал сложенные крестом руки к груди.

— Хватанул, наверно, втихари какой-нибудь сивухи у старух... Утром мы с ним плавали в село за продуктами. Может, проспится? — предположил кашевар.

— Да тут что-то серьёзное... — склонился над жалобно постанывающим Колей профессор и попытался разобрать его шёпот. — Что, что?! Отца Павла зовёт! Тут фельдшера, пожалуй, надо!

— Нет! — еле слышно прошептал Шибалёнок. — Отца Павла... Хочу исповедаться и причаститься.

— Так не поедет, поди, поп-то! Что с этого чушка возьмёшь! И не посуху ещё добираться. Вон какой ветерок по озеру тянет, — засомневался кашевар.

— Что ж! Позвоним! — решил профессор, доставая мобильник...

Подплывающую почти в сумерках к острову лодку заслышали по стуку мотора. Уже можно было различить на её носу нахохлившегося в рыбацком плаще отца Павла и Руфа на корме. На мелководье малоопытный кормщик неосторожно подставил разгулявшейся волне борт, и посудина перевернулась. Руф вынырнул, отплёвываясь, махнул было на сажёнках к острову, но опомнился, закружился на месте, а потом и вовсе легко достал ногами дно — воды только по горло.

Увидел неподалёку от себя чёрное осклизлое днище лодки и... всё. На острове перестали орать и бестолково бегать по берегу, кто то уже плыл навстречу.

Руф громко позвал отца Павла, хлебанул воды. Его, подхватив с двух сторон, ребята-реставраторы повлекли к берегу. Позади ещё плескались, ныряли.

На берегу, трясась от холода и недавнего страха, Руф увидел, наконец, что и отца Павла островитяне вынесли из воды, стали делать ему искусственное дыхание.

— Поздно! — кашевар, приложив ухо к груди священника, горестно поморщился. — Сердчишко, видать, у бати было ни к чёрту.

Своим тяжёлым, волчьим взглядом он нашёл Шибалёнка, до того голосившего громче всех — и по виду совершенно здоровым бегающего по берегу. Тот съёжился, захныкал жалобно и, ослабнув в коленках, повалился на землю.

— Батюшка! Отец Павел, друг родной, как я без тебя буду-у?! — Колю прорвало, тело его сотрясали рыдания. — Кому нужен, куда пойду? — ревел Шибалёнок в голос. — Прости меня, глупого!..

11.

Руф эти дни бродил в полном смятении. Несколько раз он останавливался у крылечка Ленкиного дома, но зайти так и не решился.

И однажды увидел выходящих из калитки каких-то незнакомых людей, следом — Ленку.

— Всё, продала дядюшкин дом! Прощай теперь, город детства! — высокопарно произнесла Ленка, когда, распрощавшись с покупателями, подошла к Руфу. Но не обняла, не расцеловала его без всякого стеснения, как при первой встрече, только взглянула на него пристально, оценивающе и сразу отстраняясь.

— Куда ты запропал? Меня избегаешь? Зря! Уезжаю вот сегодня... — она кивнула на свою иномарку. — Хотела уж к вам домой забежать, записку тебе оставить. — Она помолчала. — Извини, взять тебя с собой не могу! У сына проблемы... Завёл безродную девчонку, ребёнок будет. Я давно сына отговаривала: распутайся, брось, тебе не пара эта подзаборная дурочка. И на аборт бы её сама за руку стащила, и денег бы отстегнула. А он упёрся, ни в какую. Избаловала я его, от армии отмазала, ни в чём нужды не знал. Позвонил, что уже поздно его подружке аборт делать, в квартиру мою её привёл.

Ленка встряхнула реденькими крашеными кудряшками.

Смотреть в глаза Руфу она избегала, и в бородатую щёку ему ткнулась холодными губами то ропливо, ровно принуждая себя. И вовсе буднично добавила:

— Пора! Время — деньги! Извиняй, если что не так!

Она села в иномарку, захлопнула перед носом Руфа дверцу и напрочь отгородилась — разные мы с тобой люди.

— А я и сам бы с тобой куда не поехал, — промолвил, наконец, Руф. — И я ведь не игрушка.

Ленка посмотрела на него с удивлением, даже растерянно, но тотчас овладела собой и скривила презрительную гримаску на своём наспех и чересчур нарумяненном и оттого ещё больше постаревшем лице.

На перекрёстке она притормозила и, высунув голову из окна, крикнула Руфу:

— Я тебе напишу!

Руф, проводив взглядом иномарку, уже отвернулся и смотрел в другую сторону — туда, где над крышами кирпичных и панельных коробок домов родного города тепло золотился в лучах солнца крест над храмом.

Пусть уж лучше останется та конопатая, рыженькая девчонка в безвозвратном далёком далеке.